

АКСТИНИЯ А

БИССЬОНЕ. ЗМЕЙ, ПОЖИРАЮЩИЙ ЛОЖЬ



СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Акстиния А Биссьоне. Змей, пожирающий ложь

<https://litres.ru/74210859>

SelfPub; 2026

Аннотация

Маттео Висконти — режиссёр, мажор и циник по призванию. Его легендарная киностудия на грани банкротства, а безжалостный корпоративный хищник Лоренцо Сфорца готов нанести последний удар. Но покойный дядя Галеаццо оставил семье нечто большее, чем долги: мифический алгоритм «Биссьоне» — цифровой инквизитор, способный навсегда уничтожить ложь в интернете.

У Маттео 48 часов, чтобы найти и активировать его. В программе: взлом ватиканских серверов, перестрелки в древних миланских криптах, шпионский бал в смокинге и младшая сестра-хакерша, способная взломать даже фитнес-браслет.

Это гонка, в которой ложь — главное оружие, а правда — самый опасный вирус. Итальянский колорит, sprezzatura и ни грамма фальши.

Содержание

Глава 1. Запах целлулоида и горького миндаля	4
Глава 2. Код цвета «Апероль Шприц»	21
Глава 3. Враждебное поглощение (и парковка)	35
Глава 4. Погоня в стиле «Неореализма»	47
Глава 5. Высокая мода и низкие частоты	60
Конец ознакомительного фрагмента.	64

Акстиния А Биссьоне. Змей, пожирающий ложь

Глава 1. Запах целлулоида и горького миндаля

POV: Маттео Висконти

Объектив Leica Summilux 50mm был тяжёлым, холодным и успокаивающе бессмысленным. Я крутил его в руках, чувствуя, как рифлёная наводка на резкость упирается в подушечки пальцев с тихим, почти неслышным щелчком трещотки. Латунь, просвечивающая сквозь чёрную краску на изношенных гранях, пахла старым металлом и чьей-то нервной испариной — руками десятков операторов, которые держали это стекло до меня. Это был мой якорь. Когда мир вокруг начинал терять фокус, я просто подносил объектив к глазу, смотрел сквозь этот кусок совершенной немецкой оптики и напоминал себе простую истину: всё, что происходит вокруг, — это просто вопрос правильной экспозиции. Слишком много света — кадр выгорает в белизну. Слишком мало — тонет во мраке. Нужно лишь найти баланс.

Но в частном кинозале дяди Галеаццо экспозиция в тот вечер была нарушена. И я это чувствовал ещё до того, как понял почему.

Зал находился в самом сердце *Visconti Studios*, на последнем этаже здания, которое снаружи выглядело как обычный миланский палаццо девятнадцатого века — сдержанный фасад, чугунные балконы, ставни цвета пыльной охры. А внутри представляло собой лабиринт из бархата, красного дерева и фамильной паранойи. Воздух здесь всегда был густым, будто настоящим: пыль вековых персидских ковров, дорогие кубинские сигары, кисловатый озон от винтажного оборудования, которое дядя коллекционировал с одержимостью, граничащей с диагнозом. Дышать этим воздухом было всё равно что вдыхать саму историю итальянского кинематографа — со всеми его гениями, скандалами и неоплаченными счетами.

— Маттео, *caro mio*, ты опять прячешься за стеклом! — голос дяди Галеаццо разрезал тёплую темноту зала, заставив меня вздрогнуть и чуть не выронить объектив на паркет.

Я опустил руку. Дядя восседал в центре первого ряда, в кресле из красной кожи, которое скрипело с интонациями раннего Феллини — капризно, выразительно, с претензией на драматургию. На его шее был повязан шёлковый платок с принтом, который я бы деликатно описал как «взрыв на макаронной фабрике»: буйство охры, фуксии и какого-то ядовито-зелёного оттенка, не встречающегося в природе. В ру-

ке он держал хрустальный бокал с бароло, цвет которого в дрожащем свете проектора казался почти чернильным, как венозная кровь.

— Я не прячусь, дядя, — ответил я, опускаясь в соседнее кресло. Кашемировое пальто Logo Piana предательски зашуршало в тишине, и я поморщился: даже ткань здесь звучала неуместно громко. — Я ищу ракурс. У тебя в этом зале свет выставлен так, будто мы снимаем немецкий экспрессионизм. Твоё лицо наполовину в тени. Это метафора твоего налогового баланса?

Галеаццо рассмеялся — громко, театрально, запрокинув голову, так что эхо ударилось о звукопоглощающие панели на стенах и вернулось приглушённым. Он смеялся, как человек, который всю жизнь знал, что его слушают.

— Налоги, Маттео, — это проза. Скучная, серая, бюрократическая проза. А мы с тобой живём в поэзии! — Он повёл бокалом в сторону экрана, едва не расплескав вино. — Смотри. Смотри же. Это не просто плёнка. Это утеранный монтаж Луккино. Семьдесят третий год. Вырезанная сцена из «Семейного портрета в интерьере». Её нет ни в одном архиве мира. Только здесь. Только у нас.

На экране, мерцая серебряными царапинами и точками пыли, Берт Ланкастер медленно шёл по коридору старого римского палаццо. Звук шипел, потрескивал, как древний патефон, но в этом шипении была магия — та самая, которую невозможно оцифровать, сколько ни старайся. Я неволь-

но подался вперёд. Даже я, циник по профессии и мизантроп по призванию, не мог остаться равнодушным к этому.

Я вдохнул. Запах. Тот самый, ни с чем не сравнимый запах деградирующего целлулоида — уксусный синдром, медленная химическая смерть плёнки. Для нормального человека это вонь гнилой капусты и дешёвых химикатов. Для меня — парфюм истории, аромат уходящей эпохи, запах вещей, которые уже никогда не повторятся.

Но сегодня к этому привычному запаху примешивалось что-то ещё. Что-то новое. Сладковатый, приторный, обволакивающий аромат горького миндаля.

Я скользнул взглядом по столику рядом с дядей. Там, на серебряной тарелочке, лежали артизанальные амаретти — бледно-золотистые, посыпанные сахарной пудрой, безупречно круглые. Рядом стояла недопитая рюмка граппы, прозрачной, как слеза.

— Дядь, ты опять ешь эти печенья от той сумасшедшей кондитерши из Комо? — я поморщился. — Они пахнут как цианид.

— Искусство всегда немного токсично, племянник, — отмахнулся Галеаццо, делая неторопливый глоток бароло и смакуя его с прикрытыми глазами. — Сфорца вот жуёт свои протеиновые батончики и пьёт дистиллированную воду по расписанию, как аквариумная рыбка. Поэтому его компания стоит миллиарды, а его душа — ноль центов. Ровный, круглый, идеально сбалансированный ноль.

При упоминании Лоренцо Сфорцы у меня непроизвольно дёрнулся глаз — застарелый тик, реакция на раздражитель. *Sforza Tech*. Корпорация, которая с методичностью бульдозера пыталась оцифровать, упаковать в стриминговые алгоритмы и продать по ежемесячной подписке самую суть итальянского кино. Сфорца был человеком-таблицей, ходячей электронной ведомостью в костюме за пять тысяч евро. Говорили, будто он увольняет сотрудников, если те чихают не в такт корпоративному гимну. Я склонен был этому верить.

На экране Берт Ланкастер остановился посреди коридора. Картинка замерла — то есть буквально замерла, застыла на одном кадре. И проектор за моей спиной издал неприятный, скрежещущий звук, от которого у меня свело зубы: *vrpp-цк*.

— О нет, — прошептал я, инстинктивно подаваясь вперёд, будто мог что-то исправить силой мысли. — Дядя, лента зажевалась.

В современной цифровой реальности слово «зажевалась» означает всего лишь пикселизацию, крутящийся кружок буфера обмена и лёгкое раздражение. В мире тридцатипяти-миллиметровой нитроцеллюлозной плёнки это означает совсем другое. Это означает пожар. Лампа проектора раскаляется до тысячи градусов, а остановившийся кадр, замерший прямо в потоке этого адского света, начинает плавиться.

На экране, прямо на лице Ланкастера, образовался коричневый пузырь. Он рос, вспучивался, менял цвет — от медового янтаря к запёкшейся охре, а затем к угольно-чёрному.

— Выключи его! — крикнул я, вскакивая с кресла.

Но было поздно. Целлулоид вспыхнул. Это не было похоже на обычное пламя — никакого уютного оранжевого языка. Это была яростная, ослепительно-белая химическая вспышка, которая за долю секунды пожрала кадр и поползла вниз, к бобине, с жадностью живого существа. Зал на мгновение осветился неестественным, мертвенно-синим светом, превратив нас всех в персонажей чёрно-белого фильма ужасов.

Я обернулся к дяде, уже готовый к неизбежному спектаклю: сейчас Галеаццо вскочит, начнёт махать руками, картинно хвататься за сердце и кричать на киномеханика (которого, кстати, в зале не было — дядя не доверял чужим рукам свои сокровища и всегда крутил плёнку сам, через пульт, спрятанный в подлокотнике кресла).

Но дядя не кричал.

Он сидел, откинувшись в кресле, неподвижный. Его рука, державшая бокал, медленно, будто в замедленной съёмке, разжалась. Хрусталь ударился о паркет и разлетелся на сотни ледяных осколков, а густое, тёмное бароло растеклось по персидскому ковру, впитываясь в древние узоры и напоминая место преступления из плохого джалло — тех самых кроваво-стильных итальянских триллеров, которые дядя одновременно презирал и обожал.

— Дядя? — мой голос прозвучал чуждо, плоско, без всякой реверберации, будто зал внезапно проглотил все звуки.

Галеаццо смотрел на экран, где теперь горела уже пустая, прозрачная плёнка, издавая тошнотворный треск. Его лицо — обычно такое живое, подвижное, вечно играющее какую-нибудь роль — застыло в маске абсолютного, леденящего удивления. Не страха. Именно удивления. Будто кто-то только что шёпотом рассказал ему сюжетный твист, который он, признанный мастер драматургии, не смог предугадать. И это оскорбило его больше, чем сама смерть.

Он издал тихий звук — что-то среднее между вздохом и мягким щелчком фотозатвора. И его голова медленно, почти кинематографично, опустилась на грудь.

Я стоял посреди зала, и мой внутренний монтажёр в панике метался, пытаюсь склеить эту секунду с предыдущей и не находя стыка. *Скрипт не сходится. Реплики оборваны. Где дубль два? Где, чёрт возьми, дубль два?* Я подошёл ближе, опустился на одно колено. Кожа дяди была ещё тёплой, почти горячей, но пульса на шее, под этим безумным шёлковым платком, не было. Я держал пальцы на его сонной артерии целую вечность — секунд десять, — уговаривая себя, что просто не там нащупываю, что сейчас почувствую биение. Ничего. Тишина под кожей.

Запах. Теперь он бил в нос, перебивая даже едкую уксусную кислоту горячей плёнки. Горький миндаль. Но не от амаретти — печенья лежали нетронутыми, аккуратной горкой. Миндаль был в граппе. Или в бокале с бароло? Я не мог понять, откуда именно тянет этой сладковатой отравой, и от

этого делалось только страшнее.

Смерть, как выяснилось, пахла не больницей, не стерильностью и не животным страхом, как показывают в кино. Она пахла дорогим парфюмом Tom Ford Oud Wood, палёным целлулоидом и элитным алкоголем урожайного года. Это было до абсурда стильно и совершенно, вопиюще неуместно. Дядя и умер так же, как жил, — с безупречной постановкой кадра.

— *Cut*, — прошептал я в звенящую пустоту зала. — Снято.

Следующие два часа прошли в сюрреалистичном, вязком тумане. Я не помню, как звонил в скорую, — помню только собственный голос, до странности спокойный, диктующий адрес. Не помню, как приехала полиция. Миланские карабинеры в их нелепых лампассах и лакированных фуражках смотрели на сгоревший проектор и на тело великого Галеаццо Висконти с каким-то благоговейным пиететом, будто арестовывали не убийцу, а саму эпоху Возрождения. Один из них, молоденький, с пушком над губой, украдкой сфотографировал зал на телефон. Я сделал вид, что не заметил.

Я сидел в коридоре, на жёстком стуле в стиле баухаус, который дядя держал явно не для комфорта, а для эстетики, и методично пытался оттереть каплю бароло с манжеты своего кашемирового пальто. Занятие было совершенно идиотским и заведомо безнадёжным, но оно держало меня в реальности, как трос держит альпиниста. Логика была проста и спа-

сительна: если я могу вывести пятно от вина, значит, гравитация ещё работает. Значит, законы физики в силе. Значит, я не сошёл с ума, и мир, пусть и треснувший, всё ещё стоит на месте.

Двери лифта раздвинулись с тихим, вкрадчивым звоном, и в коридор, цокая безупречными оксфордами по мраморному полу, вошёл Арриго. Семейный юрист Висконти. Человек, который, казалось, родился в костюме-тройке, с портфелем из телячьей кожи в одной руке и с судебным иском в другой. Арриго не выглядел потрясённым. Он вообще не умел выглядеть потрясённым — по-моему, эту функцию хирургически удалили из него ещё в юридической школе. Он выглядел так, будто мы просто немного опаздывали на важную деловую встречу, и это лёгкое опоздание слегка его раздражало.

— Маттео, — он коротко кивнул, останавливаясь напротив меня. От него пахло дорогим трубочным табаком и старой архивной бумагой. — Соболезную. Великая потеря для индустрии. И, не буду скрывать, для нашего портфеля акций.

— Его отравили, Арриго, — сказал я, поднимая на него глаза. — В граппе был цианид. Я чувствую запах — горький миндаль. Это не инфаркт. Это убийство.

Арриго вздохнул — устало, с оттенком почти отеческого снисхождения — и поправил и без того идеальные запонки.

— Маттео, *caro*. Твой дядя имел столько врагов, что если бы мы вздумали подавать в суд на каждого, кто хоть раз же-

лал ему смерти, итальянская судебная система коллапсировала бы ещё в девяностых. Продюсеры, которых он разорил. Актрисы, которых он не снял. Три бывшие жены. Один кардинал. Полиция уже забрала бокал на экспертизу, будь спокоен. Но давай пока оставим конспирологию для твоих сценариев. У нас есть проблемы понасущнее.

Он щёлкнул золочёными замками портфеля и извлёк оттуда не папку с документами, как я ожидал, а квадратный чёрный конверт из плотной матовой бумаги.

— Завещание, — констатировал Арриго тоном, каким объявляют посадку на рейс. — Твой дядя был, мягко говоря, эксцентричным человеком. Он не доверял облачным хранилищам, нотариальным базам данных и, как выяснилось этим вечером, даже собственной безопасности.

Он провёл меня через анфиладу в малую гостиную — комнату, которую дядя обставил как декорацию к фильму о самом себе. Там стоял винтажный проигрыватель Marantz, отполированный до зеркального блеска, и колонки размером с мини-бар, обтянутые бежевой акустической тканью. Арриго бережно, двумя пальцами, извлёк из конверта тяжёлую чёрную виниловую пластинку. Без обложки, без конверта, без каких-либо опознавательных знаков. Только белая бумажная этикетка в центре с надписью, сделанной от руки размашистым дядиным почерком: «*Финальный монтаж. Дубль 1*».

— Он записал это три дня назад, — тихо сказал юрист

и, придерживая пластинку за края, опустил иглу на первую дорожку с почти хирургической аккуратностью.

Раздалось знакомое шипение, треск осевшей пыли — и из колонок полился голос Галеаццо. Он звучал бодро, живо, с той самой лёгкой хрипотцой заядлого курильщика, словно дядя записывал очередной эпизод модного подкаста, а не прощался с жизнью.

«Маттео! Изабелла! Если вы это слушаете, значит, мой личный режиссёрский монтаж завершён, и титры пошли раньше времени, чем я рассчитывал. Не ревите. Слёзы размывают тушь и безнадёжно портят цветопередачу лица».

Я невольно, против собственной воли, усмехнулся. Даже с того света, даже из чёрной пластиковой бороздки он пытался контролировать свет на площадке и следить, чтобы у актёров не потёк грим.

«Я оставляю вам Visconti Studios. Всю студию целиком — павильоны, архивы, коллекцию, долги и этот проклятый особняк, который сжигает состояние на одно только отопление. Но есть условие, мои дорогие. Одно-единственное условие. Вы не получите контроль над советом директоров до тех пор, пока не найдёте Биссьоне».

Я нахмурился. *Биссьоне*. Змей, пожирающий мавра, — древний геральдический символ, наш семейный герб, доставшийся Висконти вместе с претензией на родство с миланскими герцогами.

— Что он имеет в виду? — растерянно спросил я у Арри-

го. — Герб висит над камином в большом зале. Я могу снять его прямо сейчас и принести сюда. Это холст три на два метра, но я справлюсь.

Арриго молча покачал головой, не отрывая взгляда от вращающейся пластинки.

«Нет, Маттео, я не про кусок раскрашенного холста, — голос дяди в колонках вдруг стал тише, интимнее, будто он наклонился к самому микрофону. — Биссьоне — это то, что делает нас Висконти. Не металл, не краска, не пыльная родословная. Это алгоритм. Проект, над которым я работал последние десять лет втайне от всех — от совета директоров, от инвесторов, даже от вас. Это сервер, который хранит не данные. Он хранит саму суть. Эмоциональную правду кино — то, что нельзя ни украсть, ни оцифровать, ни продать по подписке. Ключ к нему разделён на три части. Первая — здесь, в моей голове. Но, боюсь, к моменту, когда вы это услышите, она уже будет недоступна. Вторую я спрятал там, где Луккино впервые заплакал над сценарием. А третья... третья находится у Сфорцы. И самое забавное — он даже не подозревает, что она у него».

Пластинка на секунду зашипела громче, игла царапнула по бороздке, и голос Галеаццо вернулся — но теперь он был другим. Жёстким, собранным, лишённым всякой театральности и позы. Голос человека, который знает, что говорит в последний раз.

«Лоренцо Сфорца уже знает о моей смерти. Его алгорит-

мы просчитали вероятность моего ухода с точностью до минуты — я почти уверен в этом. Он начнёт враждебное поглощение в течение сорока восьми часов, не позже. Он хочет превратить нашу студию в фабрику по производству бесконечного контента для его нейро-очков. Он хочет убить кино, Маттео. Не разорить — убить. Выпотрошить и набить опилками. Он хочет убить душу и продавать чучело. Найдите Биссьоне. Запустите Змея, пока не поздно. Иначе Висконти станут просто строчкой мелким шрифтом в его квартальном отчёте. P.S. Иза, перестань взламывать серверы Ватикана, это непрофессионально и рано или поздно кончится отлучением. Целую вас обоих. Свет, камера...»

Игла соскочила с последней дорожки и с глухим стуком уперлась в центр пластинки, наматывая круги вхолостую. Тишина в комнате стала плотной, звенящей, почти осязаемой.

Я смотрел на медленно вращающийся чёрный диск. Мой мозг, годами натренированный выстраивать нарративы, разбивать хаос жизни на аккуратные акты и сцены, теперь лихорадочно пытался структурировать обрушившуюся на меня информацию. Я мысленно составил список — так мне всегда было спокойнее:

1. Дядю убили. Отравили. Прямо у меня на глазах, пока я разглядывал горящую плёнку.
2. Студия — легенда итальянского кино — стоит на грани банкротства и рейдерского захвата.

3. Мне нужно найти мифический «алгоритм эмоциональной правды», разгадывая ребусы, достойные Дэна Брауна, но с густым итальянским акцентом и привкусом граппы.

4. Моя младшая сестра, судя по всему, прямо сейчас взламывает серверы Ватикана.

— Сорок восемь часов, — тихо произнёс я, словно пробуя эти слова на вкус.

— Сорок шесть, если вычесть время на похороны и итальянскую бюрократию, — деловито поправил Арриго, убиравая пластинку обратно в чёрный конверт и разглаживая клапан. — А если совсем честно — ещё меньше. Совет директоров уже в панике, телефоны разрываются. Акции Visconti Studios упали на четыре процента за последние полчаса. Сфорца скупает их через сеть подставных фондов — я насчитал уже три, и это только те, что на поверхности.

Я встал. Ноги казались ватными, чужими, но спина выпрямилась сама собой, без участия сознания. Это было знакомое ощущение — то самое, которое возникает на съёмочной площадке, когда до заката остаётся десять минут, свет ложится идеально, декорации готовы, а главный актёр вдруг намертво забывает текст. В этот момент паника не имеет права на существование. Она отступает, поджав хвост, уступая место холодной, собранной, почти спортивной злости. Времени на истерику нет. Есть только кадр, который нужно снять.

— Арриго, — я посмотрел юристу прямо в глаза. — Замо-

розь все счета, какие сможешь. Найди любые юридические зацепки, чтобы затормозить поглощение хоть на день. И передай совету директоров, что я беру творческий отпуск.

— Творческий отпуск? — Арриго приподнял бровь на миллиметр, что для него было равносильно взрыву эмоций. — Маттео, ты же креативный директор студии. Твой отпуск — это и есть твоя работа. Формально ты не сможешь взять отпуск от самого себя.

— Нет, — я взял со стеклянного столика свой объектив Leica и опустил его во внутренний карман пальто, чувствуя, как приятная, увесистая тяжесть латуни оттягивает ткань, словно якорь. — Сейчас я буду не директором. И даже не сценаристом. Сейчас я буду главным героем. И, клянусь тебе, у этого фильма будет счастливый конец. Или, на худой конец, очень стильные титры.

Я вышел из здания *Visconti Studios* через чёрный ход — тот самый, которым дядя когда-то тайком проводил любовниц и должников. Милан встретил меня своей фирменной ноябрьской изморосью, мелкой и всепроникающей. Туман — та самая легендарная миланская *nebbia*, о которой писали ещё в позапрошлом веке, — окутывал улицы плотным молочным одеялом, превращая уличные фонари в размытые жёлтые пятна, дрожащие и нерезкие, как блики на расфокусированной плёнке. Город будто нарочно снимал сам себя не в фокусе.

Я достал телефон. Экран приветливо светился десятком

пропущенных вызовов — от продюсеров, от журналистов, каким-то образом уже пронюхавших про смерть (стервятники в Милане слетаются раньше, чем остывает тело), и, что удивило меня больше всего, от самого Лоренцо Сфорцы. Личный номер. Я на секунду замер, глядя на это имя на экране, а затем сбросил вызов одним движением большого пальца. Рано. Ещё слишком рано.

Вместо этого я нашёл в списке контактов номер, записанный под красноречивым именем «Иза — НЕ ОТВЕЧАТЬ ЕСЛИ ПЬЯН». Гудок шёл долго, мучительно долго. Наконец на том конце сняли трубку. На фоне грохотал агрессивный синти-поп с рваным битом и отчётливо, дробно стучала механическая клавиатура — звук, под который моя сестра, кажется, и спала, и ела, и жила.

— Если ты звонишь, чтобы сообщить, что дядя Галеаццо опять инсценировал собственную смерть ради пиара нового фестиваля, то я сейчас очень занята, — голос Изабеллы был хриплым от хронического недосыпа и передозировки энергетиков. — Я в их сети. Почти прошла второй фэйрвол.

— Иза, — сказал я тихо, глядя, как капли дождя стекают по стеклу витрины, за которым застыли манекены в костюмах от Armani, безучастные и элегантные. — Дядя мёртв. По-настоящему. Не постановка, не розыгрыш, не пиар. И нам нужно найти цифрового Змея, пока Сфорца не превратил всех нас в пиксели на подписке.

В трубке повисла тишина. Треск клавиатуры оборвался на

полуслове. Даже синти-поп будто стал тише.

— Насколько мёртв? — наконец спросила она. Голос дрогнул — едва заметно, но я услышал.

— Настолько, что успел оставить завещание на виниловой пластинке, — ответил я.

— Окей, — выдохнула Иза, и я почти физически услышал, как она криво, по-волчьи ухмыляется, натягивая привычную броню. Так она всегда реагировала на боль — превращала её в сарказм, пока не находила подходящий момент, чтобы прожить по-настоящему. — Это уже интересный сюжетный поворот. Завещание на виниле — в этом весь наш дядя. Выезжай на Навильи, я на старой явке. И захвати пиццу, желательно с 'ндуйей. У нас впереди очень длинная ночь, братишка.

Я убрал телефон в карман, глубоко вдохнул влажный, тяжёлый воздух, пахнувший мокрым асфальтом, выхлопными газами и далёким запахом жареных каштанов с уличной жаровни, — и шагнул в туман. Моя прежняя, размеренная, тщательно отрежиссированная жизнь, где самым большим стрессом был выбор цветовой палитры для нового постера, а самой большой трагедией — неудачный оттенок печатной краски, осталась позади, там, в тёмном горящем кинозале, вместе с телом дяди и запахом горького миндаля.

Теперь мы снимали блокбастер. Настоящий. И бюджет у него, судя по всему, был неограничен — потому что платить за него предстояло жизнями.

Глава 2. Код цвета «Апероль Шприц»

POV: Изабелла «Иза» Висконти

Если бы моя жизнь была фильмом, оператор уже давно бы уволился из-за хронического отсутствия нормального освещения. И, честно говоря, я бы его не винила.

Моя «берлога» на втором этаже старого палаццо в районе Изола представляла собой триумф хаоса над логикой — и мне это нравилось. Три монитора излучали болезненно-сильный свет, выхватывая из полумрака горы пустых банок изпод энергетиков (я складывала их в шаткую пирамиду, отдалённо напоминающую башню Веласка, — маленький архитектурный оммаж родному городу), спутанные клубки кабелей Cat6, которые жили собственной жизнью и, кажется, размножались по ночам, и мою коллекцию винтажных кинокамер. Камеры я покупала на eBay в приступках ностальгии по семейному ремеслу, но так и не научилась заряжать плёнкой — они стояли на полке немым укором, красивые и бесполезные, как семейные портреты. Воздух здесь всегда пах перегретым пластиком, озоном и тем самым дешёвым эспрессо, который я варила в помятой гейзерной кофеварке примерно раз в трое суток, когда организм окончательно переставал реагировать на кофеин в банках.

Сейчас было три часа ночи — моё лучшее время, час, когда весь остальной Милан спит, а серверы по всему миру беззащитны и одиноки. За окном моросил тот самый миланский дождь, который не моет улицы, а просто делает их липкими и блестящими, как плохо отретушированная фотография. Неоновая вывеска пиццерии напротив мигала розовым светом, окрашивая мою левую щёку в цвет жевательной резинки и отбрасывая на стену пульсирующие блики. Идеальный свет, подумала я, для сцены, где героиня внезапно осознаёт, что вся её жизнь — это черновик, который срочно нужно переписать. Дядя Галеаццо оценил бы кадр.

Я хрустнула пальцами, чувствуя, как суставы издают удовлетворённый треск, размяла запястья и вернула руки на механическую клавиатуру. Клавиши откликались с сочным, маслянистым щелчком — единственный по-настоящему успокаивающий звук во вселенной.

— Ну давай, милый, — прошептала я, не отрывая взгляда от бегущих строк кода на центральном экране. — Покажи мамочке, что ты прячешь под крышкой.

Я взламывала не банк, не Пентагон и даже не серверы Ватикана (хотя в прошлый вторник это было на удивление весело — ровно до того момента, пока швейцарские гвардейцы, которых я недооценила, не сменили протоколы шифрования и не выкинули меня из системы с почти оскорбительной лёгкостью). Нет. Сегодня объектом моей ночной страсти было похоронное бюро *Eterna Pace*.

Дядя Галеаццо — царствие ему небесное и отдельный посмертный «Оскар» за лучшую постановку собственной смерти — заказал себе «умный гроб». Да-да, вы не ослышались, и я сама не сразу поверила, когда наткнулась на счёт. Эко-капсула из переработанного углеродного волокна с климат-контролем, биометрическими замками и, видимо, встроенным Spotify-плейлистом для червей. Похоронное бюро с гордостью синхронизировало телеметрию капсулы с облачным сервером, чтобы безутешные родственники могли через удобное приложение проверять влажность, температуру и общее «самочувствие» усопшего. Прогресс, чтоб его.

Какой идиот, спрашивается, кладёт в гроб IoT-устройства с выходом в интернет? Ровно тот же самый идиот, который оставляет завещание на виниловой пластинке. Гены не обманешь.

Мой скрипт-брутфорс, стыдливо замаскированный под безобидные запросы умного холодильника, наконец прошёл маршрутизатор бюро. Экран моргнул. *Access Granted*.

Я откинулась на спинку продавленного кресла, отпивая остывший, горький как полынь эспрессо, и поморщилась. На экране развернулась файловая система капсулы. Папки с логами температуры, весом, показателями влажности и... стоп.

Мои пальцы замерли над клавиатурой.

Скрытый раздел. Аккуратно замаскированный под системные драйверы вентиляции — так, чтобы обычный техник бюро прошёл мимо и не почесался. Объём — сорок те-

рабайт. В гробу. *Сорок терабайт в гробу.* Это же вес целой фильмотеки в разрешении 8К, спрятанный под землёй, в углеродной капсуле, вместе с телом моего дяди.

— Дядя, ты гений паранойи, — с невольным восхищением ухмыльнулась я, вводя команду монтирования виртуального диска. — Настоящий, дипломированный гений.

Система, разумеется, затребовала пароль. Я хмыкнула. Галеаццо обожал классику до дрожи, до слёз, так что вариантов было не то чтобы много. Я набрала дату выхода «Леопарда» Висконти — того самого, с Аленом Делоном и бесконечным балом. *Ошибка.* Набрала дату рождения Луккино. *Ошибка.* Я задумалась, барабанила обкусанными ногтями по столу и глядя на розовые вспышки за окном. Что связывало моего дядю и великого режиссёра, кроме фамилии и мании величия? Луккино был аристократом, коммунистом и эстетом. Галеаццо — аристократом, капиталистом и снобом. Разные полюса, один магнит.

И тут меня осенило. Я ввела кодовое слово, которое дядя вполголоса бормотал каждый раз, когда продюсеры пытались урезать его раздутый бюджет, — слово, которое было его личной религией: *Sprezzatura*. Искусство делать самые сложные вещи с небрежной, кажущейся лёгкостью.

Дзынь. Диск открылся.

Внутри лежал один-единственный исполняемый файл с расширением `.exe` и иконкой в виде змеи, кусающей себя за хвост. Биссьоне. Я задержала дыхание, навела курсор и два-

жды щёлкнула мышью.

Мои колонки, обычно выдававшие исключительно тяжёлые басы итальянского техно, вдруг издали совершенно неожиданный звук. Это был гул настраиваемого оркестра — вразнобой пиликающие скрипки, — затем кашель, скрип отодвигаемого стула и отчётливый звук зажигающейся спички.

— *Madonna, che freddo*, — раздался голос из динамиков.

Я подпрыгнула так, что кофеварка на полке угрожающе дзынькнула, а пирамида из банок покачнулась. Голос был густым, бархатным, с лёгким хрипом заядлого курильщика и идеальным, породистым миланским акцентом. Но интонация — интонация была как у сварливого таксиста, которого только что нагло подрезали на площади перед Дуомо в час пик.

— Кто здесь? — глупо спросила я в пустоту, чувствуя себя полной идиоткой.

— *Здесь* никого нет, *cara mia*, — ответил голос с оттенком снисходительного раздражения. — Я — *там*. В твоих колонках. И, должен сказать, акустика у тебя омерзительная. Где бархат? Где дубовые панели? Где хотя бы приличный ковёр на стене? Ты держишь меня в пластиковой коробке из-под монитора, как сверчка в спичечном коробке.

На среднем мониторе развернулось окно терминала, и зелёные строки кода начали складываться, перетекать, обретать форму — в схематичное, но удивительно выразительное

лицо. У лица были густые, насупленные брови и неизменная толстая сигара в углу рта.

— Луккино? — выдохнула я, забыв закрыть рот. — Ты... ты искусственный интеллект?

— Я — алгоритм, обученный на сорока тысячах страниц моих личных дневников, писем, черновиков сценариев и сценариев разговоров с продюсерами, которых я презирал, — фыркнуло лицо на экране, выпуская цифровое облако дыма, которое тут же пикселизировалось и растворилось в чёрном фоне терминала. — Твой дядя Галеаццо потратил на меня несколько миллионов евро и десять лет жизни, чтобы оцифровать, видите ли, мою бессмертную душу. И где, спрашивается, моя благодарность? Меня заперли в гробу. В буквальном гробу, Изабелла! Это вообще законно по итальянским законам? Я хочу поговорить со своим адвокатом. У меня есть адвокат?

Я расхохоталась — нервно, громко, на грани истерики. Это было так по-висконтиевски, что резало без ножа. Абсурдно, безумно дорого и при этом невероятно, вызывающе стильно.

— Дядя сказал, что ты поможешь мне найти Биссьоне, — проговорила я, отсмеявшись. — Настоящий Биссьоне. Тот самый алгоритм.

— *Biscione*... — ИИ на экране прищурился, брови сошлись к переносице, и голос его внезапно стал ниже, серьёзнее, лишившись всей театральной ворчливости. — Змей,

Изабелла, — это не программа. Он не в коде. Его нельзя скачать или скопировать на флешку. Он живёт в людях. Но чтобы его разбудить, тебе нужен ключ. И он не в моём гробу, так что рыться в углеродном волокне дальше бессмысленно.

Внезапно цифровое лицо Луккино исказилось. Пиксели дрогнули, поплыли. Виртуальная сигара выпала из его рта и растворилась в воздухе.

— *Ascolta*, — прошипел он, и в голосе прорезалась настоящая тревога. — У нас проблема. Большая. Твой IP только что засветился. Кто-то очень богатый и очень, очень скучный несколько секунд назад пробил твой прокси-сервер, как бумажную салфетку. Они идут по следу. Прямо сейчас.

— Сфорца? — Мои пальцы уже сами собой легли на клавиатуру, сворачивая окна и запуская протокол затирания логов на автопилоте.

— Хуже. Его люди. И они, — Луккино понизил голос до зловещего шёпота, — не используют клавиатуры. Они используют...

ИИ не успел закончить фразу.

Сквозь ровный шум дождя и монотонный гул кулеров прорезался новый звук. Высокий, тонкий, нарастающий — похожий на вой гигантского, разъярённого комара размером с собаку. *Вжжжжжжжжжж.*

Я очень медленно повернула голову к окну.

Розовый неон пиццерии освещал силуэт, зависший в паре метров от стекла. Это был не милый пузатый курьерский

дрон, что развозит по вечерам суши и пасту. Это был промышленный гексакоптер размером с хорошую микроволновку, с матово-чёрным, поглощающим свет корпусом и шестью безжалостными, деловито жужжащими роторами. А под его брюхом, зажатый в специальном механическом захвате, висел цилиндрический контейнер. И от этого контейнера исходило слабое, тошнотворно-оранжевое свечение.

Термит. Или белый фосфор. Так или иначе — корпоративный шпионаж в этом сезоне стал удивительно, вызывающе огнеопасным.

— Уходи! — рывкнул Луккино из колонок так, что задрожали басовые мембраны. — Немедленно! Я запущу протокол самоуничтожения локальной сети, сотру все следы, чтобы они не вытащили ничего из твоих железок! Беги, дурочка!

— Я не могу тебя тут бросить! — крикнула я, лихорадочно выдёргивая из порта флешку с резервной копией.

— Я — код, Изабелла! Меня нельзя убить, меня можно только перезаписать, а я оставил три бэкапа в местах, о которых ты даже не догадываешься! А вот ты сделана из мяса, и ты, поверь моему режиссёрскому опыту, очень даже неплохо горишь! *Vai!*

Стекло окна взорвалось внутрь.

И это не было похоже на кино. В кино стекло разлетается красивыми, в замедленной съёмке, алмазными каплями, а героиня в развевающемся платье элегантно уклоняется, не

задев ни осколка. В реальности окно разлетелось на тысячи острых, злобных, ничуть не фотогеничных осколков, которые веером впились мне в щёку и предплечья мелкими обжигающими укусами. Холодный, мокрый ноябрьский ветер ворвался в комнату, мгновенно смешавшись с запахом озона и раскалённого металла.

Дрон нагло влетел в пролом и завис в центре моей берлоги, деловито поводя корпусом. Его камера-глаз с немигающим красным диодом зафиксировалась на мне, как прицел. Механический захват под брюхом дважды щёлкнул, и контейнер с термитом начал тихо, зловеще шипеть, разогреваясь изнутри.

Мой пульс ударил в виски с такой силой, что заложило уши. Ритм. *Тум-тум. Тум-тум. Тум-тум.* Саундтрек Бернарда Херрманна к «Психо»: скрипки, визжащие на невыносимо высоких нотах. Адреналин залил вены ледяной водой, но мозг, парадоксальным образом, стал вдруг кристально, хирургически ясным. Время как будто загустело.

Я схватила со стола ноутбук, сунула его в непромокаемый рюкзак, который, к счастью, всегда висел на спинке кресла наготове (параноя — семейная черта), и рванула к двери. И вот тут я совершила фатальную ошибку. На мне были ботинки. Чёрные, винтажные, на массивной платформе и с каблуком в восемь сантиметров, которые я на свою беду надела ещё утром, собираясь в полицейский участок, — чтобы выглядеть как «убитая горем, но по-прежнему безупречно

стильная наследница медиаимперии».

Проклятая мода. Проклятый Милан. Проклятое семейное тщеславие.

Я выскочила в коридор, тут же поскользнулась на натёртом паркете и едва не растянулась. За спиной, в комнате, раздался глухой, утробный *БУМ*. Дверь моей квартиры сорвало с петель и вышвырнуло в подъезд, а волна сухого жара опалила мне затылок и лопатки сквозь куртку. Спринклеры на потолке подъезда не сработали — ни один. Умная система пожаротушения здания, конечно же, была взломана и заботливо отключена. Сфорца не оставлял хвостов.

Я бежала к чёрной лестнице, и каблуки предательски цокали по мраморным ступеням, отдавая гулким эхом в пустых пролётах — цок, цок, цок, — выдавая меня с головой. Я чувствовала себя героиней джалло Дарио Ардженто: агрессивный неоновый свет, чёрные бархатные тени, безжалостный маньяк на хвосте (в моём случае — робот, что, согласитесь, ещё унижительнее) и совершенно, катастрофически непрактичный гардероб.

Выскочив на площадку третьего этажа, я с разбегу пнула тяжёлую ржавую дверь на пожарную лестницу. Она поддалась с протяжным скрипом, и миланская ноябрьская ночь встретила меня отвесной стеной ледяного дождя. Металлические ступени были скользкими, как каток в аду. Я мёртвой хваткой вцепилась в перила, чувствуя, как ржавчина и мокрая краска впиваются в ладони, и начала спускаться, пере-

скакивая через ступеньку.

Сверху, из пролома, который ещё недавно был моим окном, уже вырывались языки белого, ослепительного пламени. Термит горит при температуре около двух с половиной тысяч градусов. Он плавит не только мебель и мои несчастные винтажные камеры — он плавит бетонные перекрытия, стальную арматуру, саму ткань реальности.

— Изабелла!

Я замерла на полушаге, чуть не выронив рюкзак. Голос доносился снизу. У подножия пожарной лестницы, под жестяным козырьком соседней пекарни, стоял Маттео. В своём идиотском, насквозь промокшем кашемировом пальто, с прилипшими ко лбу волосами и выражением лица человека, который только что увидел, как безнадёжно засветили его любимый, единственный дубль. А в правой руке он почему-то сжимал тяжёлый металлический лом.

Откуда, скажите на милость, у креативного директора киностудии взялся монтировочный лом?!

— Прыгай! — крикнул он, перекрикивая шум ливня и нарастающий гул пламени наверху. — Последние три ступеньки отсутствуют, там обрыв!

Я глянула вниз, за перила. Действительно: ржавый металл лестницы обрывался в добрых двух метрах от блестящего мокрого асфальта.

— Я в «Праде», идиот! — заорала я в ответ, спускаясь на последнюю уцелевшую ступеньку и балансируя на самом

краю. — Эти ботинки не предназначены для паркура! Они предназначены для того, чтобы красиво стоять!

— Тогда снимай их! — Маттео с лязгом бросил лом на асфальт и поднял вверх обе руки, растопылив пальцы. — Я поймаю! Доверься мне!

Я обернулась на горящее окно моей берлоги. Огонь уже жадно лизал старую кирпичную кладку, вырываясь наружу оранжевыми флагами. Времени на раздумья, на споры и на оплакивание не осталось ни секунды. Я прижалась спиной к мокрой холодной стене, одним резким, злым движением расстегнула молнии на обоих ботинках и выскользнула из них, оставив дизайнерскую обувь сиротливо висеть на перилах пожарной лестницы, как военный трофей поверженной армии моды.

И в одних тонких, промокших насквозь колготках я шагнула в пустоту.

Полёт длился ровно секунду — но эта секунда растянулась в вечность. Я успела подумать, что дядя обязательно снял бы это рапидом. Я врезалась в грудь Маттео, сбив его с ног, и мы оба с плеском рухнули в глубокую лужу, пахнущую бензином, ржавчиной и мокрым асфальтом. Ледяная вода мгновенно пропитала одежду до последней нитки, но я почувствовала только дикое, животное, оглушительное облегчение. Живая. Целая.

Сверху раздался протяжный грохот. Часть перекрытия моей квартиры обрушилась внутрь, и высокий столб оранже-

вых искр взметнулся в чёрное ночное небо, окрашивая падающие капли дождя в адский, inferнальный цвет.

Маттео кряхтел подо мной, пытаясь отдышаться и одновременно спихнуть меня в сторону.

— Ты в порядке? — простонал он, отплёвываясь от грязной дождевой воды. — Ты хоть понимаешь, что только что сожгла свои ботинки за тысячу евро?

— Они жали в пальцах, — отозвалась я, перекатываясь на спину прямо в луже и глядя вверх, на дождь, который сейчас казался мне самым прекрасным и дорогим спецэффектом в мире. Я чувствовала, как по щеке стекает уже не дождевая вода, а тонкая тёплая струйка крови из царапины от осколка. — Маттео... у меня есть дядя. Цифровой. Он живёт в колонках и жутко матерится по-милански.

Маттео медленно, с усилием сел, отжимая набрякший подол своего кашемирового пальто, которое теперь весило, наверное, килограммов десять. Он посмотрел на пылающее окно, потом перевёл взгляд на меня — босую, промокшую, окровавленную и совершенно, неприлично счастливую — и вдруг тихо, устало рассмеялся.

— Знаешь, Иза, — сказал он, протягивая мне руку, чтобы помочь подняться. — Мне кажется, мы с тобой только что успешно прошли кастинг на главные роли.

Я ухватила за его ладонь. Она была холодной от дождя, но крепкой и надёжной.

— Очень надеюсь, что гонорары будут достойные, бра-

тишка, — проговорила я, вставая на дрожащие босые ноги. — Потому что теперь нам предстоит найти сервер, который не горит, спрятаться от человека, который управляет спутниками, и выпить столько «Апероля», чтобы навсегда забыть запах палёного пластика.

Мы побрели по тёмной, узкой аллее прочь от разгорающегося зарева и воя пожарных сирен, которые уже надрывались где-то в районе Корсо Гарибальди. Милан спал, безмятежный и равнодушный, не подозревая, что в его влажных каменных недрах только что проснулся Змей.

И он был очень, очень голоден.

Глава 3. Враждебное поглощение (и парковка)

POV: Лоренцо Сфорца

Мир состоит из линий. Прямых, параллельных, перпендикулярных. Линии — это основа порядка, а порядок — это единственная известная мне форма любви. Всё остальное, что люди называют этим словом, — не более чем химический сбой, временное помутнение датчиков.

Я сидел за столом из цельного слэба белого каррарского мрамора на сороковом этаже штаб-квартиры *Sforza Tech*. Воздух в кабинете был выверен до последнего параметра: ровно 21,5 градуса по Цельсию, влажность 45%, с лёгким, почти неуловимым запахом озона и белого чая, который автоматически распылялся каждые сорок минут. Никакой пыли. Пыль — это хаос в миниатюре, миллиарды частиц, летящих по непредсказуемым, неконтролируемым траекториям. Я объявил хаосу личную, бессрочную вендетту ещё в двенадцать лет — в тот день, когда мой отец разорился дотла из-за того, что не смог, не захотел, поленился структурировать свои долговые обязательства. Я помню, как судебные приставы выносили мебель, ставя её на грузовик криво, под разными углами. Именно тогда я понял, что беспорядок убивает. Мой взгляд скользнул по идеальной глади столешницы.

Чёрная ручка Montblanc лежала строго параллельно левому краю планшета. Расстояние от торца ручки до угла экрана составляло ровно 4,2 сантиметра. Я протянул руку и сдвинул ручку на полмиллиметра влево. Замер, оценивая. Теперь — идеально. Мой пульс, который в состоянии покоя бьётся ровно шестьдесят раз в минуту, удовлетворённо успокоился.

— Лоренцо, вы нас слышите?

Голос донёсся из 8К-монитора, занимавшего всю стену напротив. На экране в аккуратной сетке располагались двенадцать лиц — совет директоров *Sforza Tech*. Даже несмотря на то, что камеры в их кабинетах стоили как небольшой автомобиль каждая, все двенадцать выглядели для меня как набор случайных пикселей с досадно низким разрешением души.

— Я слышу вас, Элеонора, — ответил я. Мой голос был ровным, тщательно модулированным, лишённым любых лишних обертонов и эмоциональной окраски. — И я вижу, что Марко снова жуёт жвачку во время заседания совета. Марко. Если вы не избавитесь от этой привычки к следующему кварталу, я лично пересчитаю ваш KPI с поправочным коэффициентом на время, которое вы бесцельно тратите на бессмысленное, ритмичное сокращение челюстных мышц.

На экране Марко поперхнулся, побагровел и торопливо, воровато сплюнул жвачку в бумажную салфетку. Порядок был восстановлен. Хотя бы локально.

— Мы обсуждали падение акций *Visconti Studios*, — про-

должила Элеонора, поправляя очки указательным пальцем. Она была нашим финансовым директором и единственным человеком в этой сетке, чья строгая, геометрически выверенная причёска не вызывала у меня лёгкого визуального отторжения. — Смерть Галеаццо Висконти обрушила их котировки на 4,2% за последние три часа. Рынок нервничает. Циркулируют упорные слухи, что студия давно на грани банкротства, а наследники... скажем деликатно, не отличаются корпоративной зрелостью. Племянник — художник. Племянница — вообще непонятно кто.

Я неспешно сложил пальцы обеих рук в идеальный, симметричный замок.

— *Visconti Studios* — это не компания, Элеонора, — произнёс я. — Называть это компанией — оскорбление для экономической науки. Это хоспис для ностальгии. Богадельня для чувств. Они до сих пор снимают на плёнку — на физическую, горючую, разлагающуюся плёнку, — потому что панически боятся будущего. Они хранят бесценные архивы в сырых подвалах, потому что не доверяют облачным хранилищам. Галеаццо Висконти был, вероятно, великим режиссёром. Но как исполнительный директор он был безнадёжным романтиком. А романтизм в бизнесе — это не что иное, как крайне неоптимальное распределение ресурсов, ведущее к энтропии.

— Ваши конкретные предложения, Лоренцо? — спросил председатель совета, пожилой мужчина, чей галстук был по-

вязан с раздражающей меня асимметрией — левый конец на два сантиметра длиннее правого. Я старался не смотреть туда.

— Враждебное поглощение, — произнёс я.

Эти два слова упали в стерильную, кондиционированную тишину кабинета, как две капли ртути на идеально ровное стекло — тяжело, округло, неотвратимо.

— Мы начинаем скупать их долги через сеть подставных кипрских фондов, — продолжил я, поднимаясь и подходя к панорамному окну, за которым лежал мокрый, кривой, несовершенный Милан. — Мы блокируем их кредитные линии в дружественных банках. Мы шлём их поставщикам уведомления о рисках. К пятнице, максимум к понедельнику, их совет директоров будет на коленях умолять нас о спасении. А мы великодушно спасём. Мы интегрируем их архивы в нашу нейросеть. Оцифруем каждый кадр, каждую строчку сценария, каждый актёрский вздох и каждую слезинку. И превратим их вязкий, убыточный хаос в структурированный, размеченный, монетизируемый контент для наших VR-платформ и нейро-очков.

— Это довольно жестоко, — тихо, почти неслышно заметил один из младших директоров, сидевший в нижнем правом углу сетки.

Я обернулся к экрану и посмотрел на него с искренним, неподдельным недоумением.

— Жестоко? — переспросил я. — Вы хотите знать, что

такое настоящая жестокость? Настоящая жестокость — это позволять величайшему культурному наследию гнить в подвальной сырости из-за чьего-то раздутого эго и страха перед прогрессом. Я не уничтожаю *Visconti*. Запомните это и передайте прессе. Я спасаю их от них самих. Я дарю им подлинное бессмертие — в коде. Код не стареет. Код не выцветает и не осыпается. Код не требует перерывов на кофе, не устраивает забастовок и, — я сделал крошечную паузу, — не умирает от отравленной граппы в собственном кинозале.

Совет директоров дружно, синхронно закивал. Они всегда кивали, когда я говорил о коде и о бессмертии. Это успокаивало их примитивную жадность, элегантно маскируя её под возвышенную заботу о технологическом прогрессе. Я давно понял: чтобы люди делали то, что тебе нужно, надо всего лишь дать им красивое слово для оправдания их низменных инстинктов.

— Готовьте документы, — подвёл я итог. — И, будьте добры, уволите моего водителя. Он снова пахнет чесноком. Это неприемлемо в закрытом пространстве салона.

Экран беззвучно погас. Стена снова стала просто стеной — гладкой, серой, симметричной.

Я остался один в своём стеклянном аквариуме на самой вершине Милана. Я встал и машинально поправил манжеты идеально сидящего костюма-тройки от *Brioni*. Плотная ткань слегка сковывала движения, самую малость, — но именно это чувство я и любил. Оно постоянно напоминало

мне, что я в форме, что я собран, что я контролирую каждую отдельную мышцу своего тела, каждый жест, каждую траекторию.

Я подошёл к картине, висевшей на правой стене кабинета. Это был подлинный Джексон Поллок — «Осенний ритм». Клубок хаотичных, бессмысленных, разбрызганных линий, налезających друг на друга без всякой системы. Я ненавидел эту картину всеми фибрами своей упорядоченной души. Она висела здесь исключительно потому, что её преподнёс мне в дар один влиятельный ближневосточный шейх, и убрать её означало бы нарушить хрупкий дипломатический протокол ценой в несколько миллиардов. Но у этого визуального кошмара было одно достоинство: за ним скрывался сейф.

Я приложил подушечку большого пальца к биометрическому сканеру, спрятанному в резной раме. Тихий щелчок. Картина плавно, бесшумно отъехала в сторону, открыв матовую стальную дверь.

Внутри не было ни слитков золота, ни компромата на политиков, ни предъявительских облигаций на счетах в Женеве. Там лежала одна-единственная вещь. Идеально сохранённая, запаянная в защитный пластиковый слипкейс, — коллекционная DVD-копия фильма «Привидение» тысяча девятьсот девяностого года.

Я достал диск, ощущая ладонью прохладу и гладкость пластика. Мой строгий, оцифрованный, рациональный мозг тут же принялся выдавать возмущённые сообщения об

*ошибке. Зачем тебе это? Это крайне неэффективное повествование. Логические дыры в сюжете. Немотивированное поведение антагониста. Абсурдная концепция посмертной бюрократии. И эта сцена с гончарным кругом... Господи, сколько можно бесконечно месить одну и ту же глину под *Unchained Melody*?!*

Но мои руки, вопреки всем протестам разума, предательски подрагивали. Я вставил диск в скрытый плеер, встроенный в столешницу, и надел беспроводные наушники, отсекая мир. На мониторе появилась та самая сцена. Деми Мур в свободной майке садится за гончарный круг в полутёмной мастерской.

Я смотрел, как её тонкие пальцы скользят по мокрой, податливой глине. Как Патрик Суэйзи бесшумно подходит и обнимает её сзади. Как их руки переплетаются, и из бесформенного, хаотичного комка вдруг рождается форма — стройная, симметричная, живая. И в моей груди, где-то в районе левого желудочка, возникло странное, незапланированное, тёплое давление. Сбой в отлаженном кардиоритме. Некорректный, ничем не спровоцированный выброс дофамина и окситоцина в кровь.

Я крепко зажмурился. Я знал, я твёрдо знал, что это всего лишь химия. Древний эволюционный баг, доставшийся нам от предков, — программа, заставляющая людей размножаться и строить заведомо неэффективные, недолговечные социальные конструкции, которые они наивно называют «се-

мьей». Но, чёрт возьми, как же мне иногда хотелось, чтобы кто-нибудь однажды посмотрел на меня вот так. Так, как Патрик Суэйзи смотрел на Деми Мур. Не как на актив с рекордной рыночной капитализацией. Не как на источник финансирования. А как на... глину. Мягкую, живую глину, из которой можно вылепить что-то настоящее и прекрасное.

Я резко, почти со злостью выдернул наушники. Экран погас. Тёплое давление в груди тут же схлынуло, уступив место привычной, чистой, холодной ясности. Порядок вернулся.

— Эмоции — это неоптимизированные, устаревшие алгоритмы, — сказал я вслух, ровным голосом, возвращая диск в сейф и задвигая ненавистного Поллока на место до тихого щелчка. — А я, как известно, не терплю багов в своей системе.

Спуск на приватном лифте в подземный паркинг занял ровно сорок две секунды — я засекал. Зеркальные двери бесшумно раздвинулись, и меня встретил прохладный запах бетона, дорогой резины и едва заметных выхлопных газов.

Мой Lamborghini Revuelto — матово-чёрный, хищный, приземистый и абсолютно симметричный — стоял на выделенном месте с табличкой «СЕО».

Я подошёл к машине, достал из кармана ключ, и в этот момент мой взгляд зацепился за одну деталь. Мелкую. Ничтожную. Микроскопическую деталь, от которой моя левая бровь непроизвольно дёрнулась вверх.

Переднее правое колесо. Оно переехало белую эпоксид-

ную линию разметки.

Я замер. Медленно, не веря собственным глазам, присел на корточки, чтобы проверить угол под правильным освещением. Да. Никаких сомнений. Шина выступала за пределы отведённого мне парковочного пространства ровно на 2,3 сантиметра.

Два целых три десятых сантиметра. Это не досадная погрешность. Это не случайность. Это преступление против самой евклидовой геометрии. Это плевок в лицо архитектурному бюро, которое три года проектировало этот безупречный гараж. Это означало, что машина стоит криво. А если машина стоит криво относительно линии, значит, она стоит криво относительно несущих колонн. А значит, весь мой подземный уровень, вся эта тщательно выверенная система координат, визуальна смещена. Смещена на микрон, но смещена.

Как мой водитель — тот самый, который пахнет чесноком, — мог допустить подобное надругательство? Или, что гораздо хуже, это я сам так небрежно припарковался сегодня утром, погружённый в мысли о квартальном отчёте и о смерти Галеаццо? От одной этой мысли мне стало физически дурно, к горлу подкатила тошнота. Я, Лоренцо Сфорца, человек, чьи нейросети управляют орбитальными спутниками с точностью до наносекунды, не способен поставить собственный автомобиль ровно по белой линии?

Я решительно сел за руль. Кожа салона пахла новизной,

деньгами и контролем. Я завёл двигатель — двенадцать цилиндров глухо, сыто зарычали, но даже этот рык был инженерно выверен и идеально сбалансирован. Я плавно сдал назад. Выехал на середину проезда. И снова, медленно, начал заезжать на своё место.

Миллиметр за миллиметром. Я неотрывно смотрел в камеру заднего вида, совмещая жёлтые направляющие линии на экране с белыми линиями на бетонном полу, как хирург, сводящий края раны.

Стоп.

Я заглушил мотор, вышел из машины и обошёл её кругом, проверяя. Идеально. Оба передних колеса стояли строго параллельно разметке, с допуском не более одного миллиметра. Симметрия была восстановлена. Мир снова обрёл смысл и опору. Я медленно выдохнул, чувствуя, как каменное напряжение уходит из плеч и шеи.

Сев обратно за руль, я активировал защищённый бортовой компьютер.

— Подключиться к закрытому каналу, — скомандовал я.
— Отдел корпоративной разведки.

Голос в динамике был хрустящим, чётким и лишённым эмоций — таким, как я люблю: *«Слушаем, синьор Сфорца»*.

— Начинаем операцию «Биссьоне», — сказал я. — Заморозьте счета *Visconti Studios* по всем юрисдикциям, где мы можем дотянуться. Разошлите их ключевым поставщикам официальные уведомления о финансовых рисках и налёки

на расторжение контрактов. И найдите мне племянников Галеаццо. Маттео и Изабеллу. Я хочу знать в реальном времени, где они, что они делают, с кем говорят и — самое главное — что именно они прячут. Галеаццо Висконти был слишком тщеславен, чтобы просто взять и умереть, не оставив после себя какой-нибудь напыщенной, театральной головоломки.

«Принято. Приступить к фазе прямого давления?»

— Приступить немедленно. Но без физического насилия, — уточнил я. — Подчёркиваю: без. Мы не мафия из дешёвого джалло. Мы — технологическая компания мирового уровня. Давите на них кошельком, репутацией и буквой закона. Пусть они почувствуют, как мир медленно, но неотвратно сжимается вокруг них — до тех пор, пока не станет идеально квадратным.

«Вас понял. Приступаем».

Я отключил связь и мягко вдавил педаль газа. Lamborghini беззвучно и плавно выскользнул из гаража на мокрые улицы ночного Милана.

Дождь всё ещё шёл, размывая огни города в дрожащие неоновые кляксы. Я смотрел сквозь лобовое стекло на блестящий чёрный асфальт, на хаотичное, броуновское движение жёлтых такси, на людей, бегущих под зонтами и нарушающих все мыслимые оптимальные траектории движения. Они были такими неэффективными. Такими нелогичными. Такими незащитными и уязвимыми в своём мокром несовершенстве.

Я включил музыку. Не оперу, которую от меня ожидали бы. Не строгую электронику. А саундтрек из фильма «Неспящие в Сиэтле». Совсем тихо, на минимальной громкости, так, чтобы ни бортовой микрофон, ни один живой человек в мире не смог этого услышать и запротоколировать. Мягкий саксофон медленно наполнил кожаный салон, и я позволил себе на одну-единственную секунду — ровно на одну — прикрыть глаза на красный сигнал светофора.

Я заберу у Висконти их драгоценную студию. Я оцифрую их пресловутую душу и упакую её в идеальный, чистый, симметричный код. Я спасу их от этого мокрого, кривого, хаотичного, невыносимо несовершенного мира.

И, может быть, — эта мысль пришла непрошено, — может быть, где-то там, в глубине их бесконечных архивных серверов, среди тысяч часов оцифрованной ностальгии, я наконец найду ту самую сцену. Ту, где бесформенная глина под чьи-то руки обретает совершенную форму.

Светофор загорелся зелёным. Я плавно нажал на газ, и машина, безупречно повинаясь моему абсолютному контролю, устремилась в ночь, разрезая уличные лужи строго по центру своей полосы.

Глава 4. Погоня в стиле «Неореализма»

POV: Маттео Висконти

Моя Vespa 150 VBB тысяча девятьсот шестьдесят пятого года выпуска цвета «выцветшая лазурь» — это не просто транспортное средство. Это характер, темперамент, живое существо со своими капризами. У неё капризный карбюратор, который отказывается заводиться в сырую погоду из принципа; она вибрирует так, что к сорока годам у тебя гарантированно немеют кончики пальцев; и она пахнет сложной, почти нишевой парфюмерной смесью неэтилированного бензина, прогретого масла и моей хронической, застарелой тревожности.

Но сегодня утром она была идеальна. Просто идеальна.

Миланская *nebbia* — тот самый легендарный туман — наконец сошла, растаяла, уступив место рассеянному, мягкому, почти божественному свету, ради которого операторы со всего мира готовы продавать души и первые права на нерожждённые сценарии. Я ехал вдоль Навильо-Гранде, и утренний ветер трепал полы моего пальто и немилосердно путал волосы, которые я с таким трудом уложил гелем сильной фиксации. В воздухе висел густой, уютный аромат жареных каштанов от уличного *caldarrostaio* на углу Виа Валенца — стари-

ка в вязаной шапке, который стоял там, сколько я себя помню, — и этот тёплый запах причудливо смешивался с резким привкусом выхлопных газов и влажным дыханием вековой брусчатки.

Я поправил бордовый шёлковый шарф. В моих мечтах я в эту минуту выглядел как Марчелло Мастоияни, элегантно сбежавший от собственного экзистенциального кризиса. В суровой реальности я, скорее всего, напоминал слегка простуженного хипстера, безнадёжно опаздывающего на дегустацию натурального вина где-нибудь на Тортоне.

Жизнь — несмотря на смерть дяди, отравленную граппу и дотла сгоревшую квартиру сестры — казалась в этот единственный светлый миг почти управляемой. Я ехал в студию, чтобы проверить декорации к новой сцене, и позволял себе непозволительную роскошь просто *быть* в кадре, а не выстраивать его. Быть актёром, а не режиссёром собственной жизни.

Именно в этот безмятежный момент, когда я упивался идеальной глубиной резкости утреннего Милана, мой взгляд случайно, лениво скользнул по круглому, слегка поцарапанному зеркалу заднего вида.

Cut.

Сцену пришлось прервать.

За мной, на расстоянии примерно в пятьдесят метров, ровно, как привязанные, ехали два чёрных внедорожника. Alfa Romeo Stelvio. Матовый, поглощающий свет кузов, на-

глухо тонированные стёкла, хищная, оскаленная решётка радиатора. Они двигались слишком синхронно, слишком плавно, слишком *правильно* для хаотичного миланского трафика, где каждый второй водитель считает разметку личным оскорблением. Это были не просто водители. Это были алгоритмы, вложенные в человеческие тела. Люди Сфорцы.

Мой желудок совершил неприятный кульбит, будто скутер внезапно провалился в воздушную яму. Я всю жизнь мечтал сняться в настоящем экшене, с погонями и взрывами. Но, честное слово, я не предполагал, что бюджет окажется настолько низким, а каскадёры — настолько неприятно, по-настоящему агрессивными.

Я выкрутил ручку газа до упора, до предела. Старушка Vespa возмущённо ответила натужным, комариным жужжанием и, кряхтя всеми своими шестидесятилетними внутренностями, начала неохотно набирать скорость. Спидометр, который врал ещё при Муссолини, дрожащей стрелкой пополз к оптимистичной отметке «60». Для велосипеда это было бы неплохо. Для автомобильной погони — это было просто унижительно.

Внедорожники тут же, без усилий, сократили дистанцию. Они не включали сирен, не мигали фарами, не сигналили. Они просто молча надвигались, как два чёрных безжалостных утюга, готовящихся аккуратно разгладить меня по мокрому асфальту.

— Ну же, красотка, давай, не подведи! — прошипел я

сквозь зубы, ободряюще хлопая ладонью по облупленному пластиковому щитку. — Вспомни свои лучшие годы! Вспомни «Римские каникулы»! Одри Хепбёрн верила в тебя!

Я резко вильнул влево, ныряя в узкую боковую улочку, отходящую от канала под острым углом. Брусчатка здесь была такой древней и кривой, что подвеска Vespa застонала, как раненый зверь, а зубы у меня клацнули. Задний внедорожник попытался повторить мой манёвр на скорости, но его широкие спортивные шины предательски заскользили по влажным, отполированным веками камням. Раздался мучительный, дорогостоящий скрежет бампера о каменный бордюр. *Минус один пункт из корпоративной отчётности*, — злобно подумал я, не сдержав ухмылки.

Но второй внедорожник оказался проворнее и злее. Он вылетел из-за поворота, чудом не снеся цветочный горшок с геранью у чьей-то облупленной двери.

Мой мозг, за годы работы натренированный молниеносно выстраивать сложные мизансцены, теперь так же лихорадочно искал решение. Стрелять? У меня не было оружия — если, конечно, не считать тяжёлого латунного объектива Leica в кармане, но швыряться оптикой за пять тысяч евро в лобовое стекло было бы непростительным расточительством. Прыгать в канал? Вода в Навильо сейчас имела температуру и консистенцию парного молока, щедро сдобренного дизельным топливом.

Оставалась только среда. Декорации. *Mise-en-scène*, чёрт

бы его побрал. Единственное оружие, которым я владел в совершенстве.

Я выскочил на Виа Тортон и увидел до боли знакомые ржавые ворота старого промышленного ангара, который *Visconti Studios* уже третий год арендовали под съёмочные павильоны. Сверху косо висела выцветшая жестяная табличка: «Зона погрузки. Посторонним вход строго воспрещён».

Я не стал тормозить. Наоборот. Я привстал на подножки, перенёс вес тела вперёд и на полной своей позорной скорости протаранил хлипкие деревянные створки. Дерево оглушительно затрещало, ржавые петли взвизгнули в предсмертной агонии, и я на всём ходу влетел в гулкий полумрак огромного пространства, окутанного пылью и запахом свежераспиленных досок и краски.

Это была площадка моего текущего проекта — сюрреалистического ретрофутуристического мюзикла, действие которого разворачивалось на гигантском заброшенном аэродроме. Всюду высились декорации: фюзеляж несуществующего самолёта, диспетчерская вышка, фанерный бар.

Я загнал Vespu за декорацию фюзеляжа и прыгнул на бетонный пол. Ноги в замшевых лоферах тут же предательски поехали в стороны. *Проклятая мода. В следующий раз, клянусь, буду убегать от наёмных убийц исключительно в кроссовках.*

Ворота позади с грохотом разлетелись в щепки во второй раз. Оба внедорожника — тот, что помял бампер, види-

мо, всё же нагнал напарника — ворвались в ангар, взвизгнув тормозами на гладком бетоне. Из машин, синхронно распахнув двери, начали вываливаться люди. Четверо. Чёрные костюмы, тактические жилеты поверх дорогих пиджаков, наушники в ушах. Они выглядели так, будто только что провалили кастинг на роль злодеев в очередном ремейке бондианы, но всё равно были наняты — по остаточному принципу и с бюджетом на уровне студенческой дипломной работы.

— Синьор Висконти! — крикнул один из них, вытаскивая из-за пазухи электрошокер, который угрожающе затрещал ветвистыми синими искрами. — Лоренцо Сфорца сердечно приглашает вас на чашечку кофе! И на подписание кое-каких документов!

— Передайте синьору Сфорце, что я пью исключительно матча-латте на овсяном молоке! — крикнул я в ответ, ныряя за массивную декорацию диспетчерской вышки. — И только по предварительной записи!

Мне нужно было выиграть время. И мне нужны были спецэффекты. Старые добрые, аналоговые, практические эффекты. Никакого CGI, никакой постобработки. Только чистый, честный хардкор.

Мой взгляд метнулся по стенам и упал на желтый промышленный щиток с массивными рубильниками — тот самый, которым мы управляли климатом на площадке. Он висел метрах в десяти, посреди открытого, простреливаемого пространства.

Я набрал полную грудь пыльного, пахнущего краской воздуха — и рванул из укрытия.

— Стоять! — рывкнул ближайший громила, бросаясь наперерез.

Я добежал до щитка первым и, не тратя драгоценных секунд на то, чтобы разобрать подписи, которые наш гафёр вечно делал совершенно неразборчивым куриным почерком, просто рванул вниз все четыре тяжёлых рычага разом.

Щёлк. БЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ!

Ангар содрогнулся до основания. С потолка, с десятиметровой высоты, с рёвом, похожим на взлёт «Боинга-747», обрушились вниз четыре промышленные ветродуйные машины — монстры, способные в одиночку создать на площадке ураган пятой категории для сцены крушения.

Поток воздуха ударил в замкнутое пространство ангара с такой первобытной силой, что у меня мгновенно заложило уши. Пыль, опилки, забытые страницы сценариев, пустые пластиковые стаканчики из-под кофе — всё это разом взметнулось в воздух, превратив ангар в непроглядную, ревущую, апокалиптическую метель.

Громилы Сфорцы замерли на месте, инстинктивно вскинув руки к лицам. Ветер рвал их пиджаки, задира л галстуки на затылок и в считанные секунды превратил их идеальные корпоративные причёски в растрёпанные вороны гнезда. Один пошатнулся и рухнул на колено, отчаянно пытаясь удержать равновесие в этом искусственном шторме.

Но этого было мало. Ветер — это хорошо, ветер — это красиво. Но ветер, увы, не останавливает бронированные внедорожники.

Мои пальцы нащупали на щитке пятый рычаг. Красный. С полустёртой наклейкой в виде черепа и грозной надписью: «ОПАСНОСТЬ. НЕ ВКЛЮЧАТЬ БЕЗ ЗАЩИТНЫХ НАУШНИКОВ».

Я усмехнулся и с наслаждением дёрнул его на себя.

Из десятков сопел, спрятанных по всему периметру декораций, с шипением и влажным чавканьем начала вырываться густая, белоснежная, дьявольски липкая субстанция. Это был не снег. Это была театральная пена высокой плотности, которую мы приберегали для сцены «облачного сна». Созданная на основе какого-то хитрого биоразлагаемого полимера, она пахла — по иронии судьбы — дешёвым клубничным шампунем.

Пена хлынула на пол сплошным фронтом, стремительно заполняя пространство. За считанные секунды бетонный пол ангара превратился в гигантскую, пузырящуюся, благоухающую клубникой ванну.

Внедорожники у ворот попытались было тронуться с места, чтобы добраться до меня. Но их широкие спортивные шины, рассчитанные исключительно на сухой асфальт немецких автобанов, абсолютно не держали эту мыльную кашу. Передний Stelvio газанул, отчаянно взвыл мотором и — элегантно, как корова на льду, — развернулся на все сто во-

семьдесят градусов, впечатавшись задним бампером прямо в декорацию фанерного бара. Барная стойка разлетелась в щепки, и на крышу машины пролился живописный дождь из бутафорских бутылок виски.

Второй внедорожник попытался объехать разливающееся озеро пены по дуге, но его тут же занесло, развернуло, и он с грохотом вписался боком в кирпичную стену ангара, где и застрял намертво, жалобно мигая аварийкой.

— Вы что, издеваетесь?! — заорал главный громила, багровея, и попытался сделать решительный шаг в мою сторону.

Его дорогой оксфорд немедленно поехал вперёд по пене, ноги предательски улетели вверх, и он с громким, сочным, до неприличия комичным шлепком приземлился спиной прямо в сугроб клубничных пузырей. Электрошокер вылетел из его разжавшейся руки и бесследно утонул в белой массе.

Я стоял по колено в пене, придерживаясь за рычаг, и с искренним восторгом наблюдал за этой сюрреалистической картиной. Ревущий ветер, метель из страниц чужих сценариев, разливающаяся мыльная пена и четверо элитных корпоративных ликвидаторов, барахтающихся на полу, как беспомощные котята в ванной. Это было не просто спасение. Это был маленький шедевр практического кинематографа. Абсурдный, оглушительно шумный, пахнущий клубникой шедевр, достойный отдельной ретроспективы.

Но я знал: долго это не продлится. Ветроудйные машины

уже начали перегреваться, издавая тревожный запах палёной обмотки. А с улицы, судя по нарастающему вою сирен, уже приближалась то ли полиция, то ли частная охрана Сфорцы. Мне нужно было исчезнуть. Немедленно.

Я отпустил рычаги и, поскальзываясь на каждом шагу, побрёл вглубь ангара — туда, где под брезентом хранился реквизит. Мой взгляд упал на огромную крытую тележку на массивных резиновых колёсах. Мы возили в ней массовку или... стоп. Или реквизит для сцены в морге.

Я откинул край брезента. Внутри, уложенные в три аккуратных ряда, лежали они. Бутафорские трупы. Силиконовые манекены, отлитые с пугающей, почти оскорбительной реалистичностью: бледная восковая кожа, синюшные приоткрытые губы, застывшие в предсмертных гримасах лица. Они пахли тальком, латексом и лёгкой химией.

Выбора у меня не было.

Я забрался в тележку, протискиваясь между двумя «погибшими в перестрелке гангстерами» и одной «жертвой крайне неудачной пластической операции». Силикон был холодным и мерзко, склизко-податливым на ощупь. Я натянул тяжёлый брезент поверх себя, оставив лишь тонкую щёлочку для обзора, и замер, стараясь дышать через раз, чтобы грудь не выдавала меня движением.

Рёв машин в ангаре постепенно стихал — я перегрузил сеть, и они отключались одна за другой. Ветер улёгся. Пена медленно оседала, превращаясь в липкую скользкую кашу.

Сквозь щель в брезенте я видел, как главный громила — весь в белой пене, с прилипшими к багровому лицу страницами чужого сценария — прихрамывая, подошёл к моей тележке. Он был вне себя от ярости. Его идеальный костюм был безнадёжно уничтожен, его достоинство втоптанно в клубничную пену, а причёска выглядела так, будто в ней успела свить гнездо и вывести птенцов стая агрессивных чаетек.

Он остановился в метре от тележки. Я видел, как с кончика его носа капает пена — прямо на резиновую щёку «гангстера», лежавшего вплотную ко мне.

Я зажмурился. Если он сейчас откинет брезент, мне придётся притвориться мёртвым. Насколько убедительно я, дипломированный режиссёр, а не актёр, смогу сыграть труп? Сумею ли я не моргнуть, если он посветит мне фонариком прямо в глаз?

— Синьор Висконти! — прохрипел громила, отплёвываясь от пены. — Это ещё не конец, слышите?! Сфорца найдёт вас! Мы оцифруем каждый квадратный сантиметр этого города, пока не отыщем вашу нору!

Он в бессильной злобе пнул колесо тележки — да так, что мой «сосед-гангстер» глухо боднул меня силиконовым локтем прямо под рёбра. Я стиснул зубы изо всех сил, чтобы не застонать.

— Уходим! — крикнул другой агент, с трудом выбираясь из застрявшего внедорожника. — Копы на подходе! Бросай

машины, их не вытащить, надо валить пешком!

Громилы, поскользнувшись ещё пару раз и от души выругавшись на всех известных итальянских диалектах, начали отступать к разбитым воротам. Свои внедорожники они даже не пытались забрать — те намертво засели в пене и обломках декораций, как мамонты в смоле.

Я лежал в душной темноте, среди фальшивых мертвецов, и слушал, как затихают их удаляющиеся шаги и как вдалеке приближается вой карабинеров. Моё сердце колотилось о рёбра с такой силой, что казалось, будто силиконовые манекены вокруг начали тихонько вибрировать в такт.

Я медленно, беззвучно выдохнул и откинул край брезента. В ангаре было тихо — только тихо потрескивали остывающие лампы софтбоксов да оседала последняя пена. Воздух был густым от пыли и приторного клубничного аромата.

Я выбрался наружу, весь в тальке и латексной крошке, и оглядел масштаб разгрома: разбитые декорации, два намертво застрявших чёрных внедорожника, горы медленно тающей пены. Это выглядело как финальная сцена гениальной комедии положений, снятой абсолютно сумасшедшим режиссёром.

Я достал из кармана свой Leica. Чудом уцелел — ни царапины. Я навёл объектив на застрявший внедорожник, из бокового окна которого нелепо свисала оторвавшаяся при ударе рука манекена, и нажал на спуск. *Щёлк.*

Идеальный кадр. Дядя бы гордился.

Я улыбнулся, чувствуя, как адреналин медленно, приятно отступает, оставляя после себя звенящую пустоту и дикое, ни с чем не сравнимое чувство триумфа. Лоренцо Сфорца хотел оцифровать весь мир, свести его к чистым линиям и таблицам? Что ж, пусть сначала попробует оцифровать запах клубничной пены и звук лопающихся мыльных пузырей.

Я достал телефон и набрал сестру.

— Алло? — её голос был хриплым, будто она только что проснулась или, наоборот, долго кричала в подушку.

— Иза, — сказал я, брезгливо стряхивая пену с лацкана многострадального пальто. — Закажи пиццу. И, ради всего святого, привези мне сменную одежду. Я только что снял лучшую сцену погони в истории итальянского кинематографа. Но, боюсь, я безнадёжно, окончательно испортил свои замшевые лоферы.

В трубке послышался смешок, быстро перерастающий в искренний хохот.

— Выезжаю, режиссёр. Держись там. Змей проснулся — и он очень, очень голоден.

Глава 5. Высокая мода и низкие частоты

POV: Изабелла «Иза» Висконти

Если ад существует, то его интерьер, вне всякого сомнения, выполнен в стиле бетонного брутализма, а дьявол носит Prada и истерично кричит по-французски в рацию.

Я стояла за кулисами главного шоу Milan Fashion Week, вжавшись спиной в холодную бетонную стену, и старательно пыталась дышать через раз. Воздух здесь был не просто густым — он был твёрдым, почти жевательным. Токсичная, легковоспламеняющаяся смесь из лака для волос Elnett, нервного пота, дорогого парфюма Tom Ford и едкого озона от десятков перегретых софитов.

Моё сердце билось не в такт с собственным пульсом, а в такт с сабвуферами, вмонтированными прямо в конструкцию подиума. *Бум. Бум. Бум.* Низкие частоты пробирались сквозь толстые подошвы моих боевых ботинок Dr. Martens, змеёй поднимались вверх по позвоночнику и назойливо массировали внутренние органы. Sforza Tech представляли миру свою новую линейку «умной одежды» — *Aura Weave*. Корпоративная легенда, отпечатанная золотом на пригласительных, гласила, что чудо-ткань вплетает в себя биометрические датчики и с помощью низкочастотных вибраций «гар-

мониторирует чакры и оптимизирует продуктивность носителя».

Чушь собачья, разумеется. На самом деле в подкладку демонстрационного пиджака был зашит NFC-чип с биометрическим ключом от главного сервера Сфорцы. Тот самый ключ, который был мне позарез нужен, чтобы вытащить вторую часть кода Биссьоне.

На мне была чёрная униформа технического персонала, ламинированный бейдж с надписью «MARCO — AUDIO» (настоящий Марко сейчас мирно спал в фургоне, накачанный моим фирменным коктейлем из мелатонина и валерьянки) и гарнитура, из которой в ухо доносилось ровное шипение служебного эфира. Я выглядела как типичный, слегка потрёпанный жизнью технарь, которого никто не замечает — ровно до того момента, пока не перестанет работать чей-то микрофон. Идеальная маскировка. В мире, где абсолютно все смотрят только на себя и в объективы камер, человек с бухтой кабелей на плече становится совершенно, блаженно невидимым.

— Внимание, площадка! До выхода первой модели тридцать секунд! — взвизгнул в общей рации режиссёр показа — нервный человек с жидким хвостиком и шёлковым шарфом, который, казалось, был хирургически приварен к его шее.

Я скользнула взглядом по VIP-зоне за кулисами. И вот он. Валерио. Вице-президент Sforza Tech по носимым устройствам. Он стоял, лениво потягивая шампанское из пласти-

кового стаканчика, и всем своим видом напоминал человека, только что сошедшего с обложки глянцевого журнала для тех, кто принципиально не умеет улыбаться. На нём красовался прототип того самого пиджака *Aura Weave* — матово-чёрный, с едва заметной геометрической прострочкой, стоивший, по моим прикидкам, дороже, чем вся моя сгоревшая берлога вместе с оборудованием.

На его левом запястье, поверх манжеты, поблёскивали умные часы, синхронизированные с тканью пиджака. Мне нужно было подобраться к нему на расстояние не более пяти сантиметров, незаметно приложить мой кастомный RFID-клонер (тщательно замаскированный под тюбик губной помады MAC оттенка Ruby Woo) и удержать контакт ровно три секунды. Три секунды. В экшен-фильмах это один-единственный монтажный стык. В реальности — это целая вечность, за которую тебя успеют арестовать, уволить или, что несравнимо хуже, заставить досмотреть этот показ до самого конца.

Я сделала глубокий вдох, настраиваясь на роль. *Я просто иду поправить петличку. Я невидимка. Я — тень с мотком провода.*

Я шагнула из спасительной тени кулис, ловко лавируя между полуголыми моделями, застывшими перед зеркалами с пустыми, отсутствующими глазами, и стилистами, которые беззвучно орали на своих ассистентов. Пять метров до Валерио. Три метра. Два.

И вдруг чья-то рука — с хваткой, которой позавидовал бы

промышленный гидравлический тиск, — легла мне на плечо. Меня резко, но абсолютно бесшумно развернули и прижали спиной к передвижной стойке с вешалками. Металлические плечики жалобно звякнули, но этот звук мгновенно утонул в очередном басовом ударе сабвуфера.

Я подняла глаза. Передо мной стояла женщина. Лет тридцати с небольшим, с короткой практичной стрижкой, которая не требовала укладки, и взглядом, способным без предварительного нагрева расплавить титановую броню. На ней был безупречно сидящий тёмно-синий костюм — но я, привыкшая замечать детали, тут же считала всё остальное: удобные, хорошо разношенные челси на толстой рифлёной подошве, полное отсутствие украшений и то, как она распределяла вес тела — на носки, чуть подавшись вперёд, готовая к мгновенному рывку в любую сторону. И ещё: от неё пахло не духами, а оружейным маслом и очень крепким, тройным эспрессо.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.